

Иван Сергеевич Шмелев

Пути небесные. Том I

**Москва
Книга по Требованию**

УДК 82-3
ББК 84

Иван Сергеевич Шмелев

Пути небесные. Том I / Иван Сергеевич Шмелев – М.: Книга по Требованию, 2011. – 184 с.

ISBN 978-5-4241-3423-4

Роман известного русского писателя-эмигранта И.С.Шмелева "Пути небесные" является, по выражению самого автора, "опытом духовного романа", над которым он работал более 15 лет.

Следуя традициям великой русской литературы XIX века, Шмелев воссоздает реальную историю взаимоотношений двух людей, их жизненного и духовного пути.

ISBN 978-5-4241-3423-4

© Издание на русском языке, оформление, «YOYO Media», 2011

© Издание на русском языке, оцифровка, «Книга по Требованию», 2011

Иван Сергеевич Шмелев
Пути небесные
Том I

Эту книгу — последнюю написанную мной при жизни незабвенной жены моей Ольги Александровны и при духовном участии ее — с благоговением отдаю ее светлой Памяти.

Ив. Шмелев. 22 декабря 1936 г. Булонь-сюр-Сен

I

ОТКРОВЕНИЕ

Эту чудесную историю — в ней земное сливается с небесным — я слышал от самого Виктора Алексеевича, а заключительные ее главы проходили почти на моих глазах.

Виктор Алексеевич Вейденгаммер происходил из просвещенной семьи, в которой перемешались вероисповедания и крови: мать его была русская, дворянка; отец — из немцев, давно обрусевших и оправославившихся. Фамилия Вейденгаммер упоминается в истории русской словесности; в 30-40-х годах прошлого века в Москве был «благородный пансион» Вейденгаммера, где готовились к университету дети именитых семей, между прочим — И. С. Тургенев. Старик Вейденгаммер был педагог требовательный, но добрый; он напоминал, по рассказам Виктора Алексеевича, Карла Ивановича из «Детства и отрочества». Он любил вести со своими питомцами беседы по разным вопросам жизни и науки, для чего имела у него толстая тетрадь в кожаном переплете, прозванная остряками «кожаная философия»: беседы были расписаны в ней по дням и месяцам, — своего рода «нравственный календарь». Зимой, например, беседовали о благотворном влиянии сурового климата на волю и характер; великим постом — о страстях, о пользе самоограничения; в мае — о влиянии кислорода на организм. В семье хранилось воспоминание, как старик Вейденгаммер заставил раз юного Тургенева ходить в талом снегу по саду, чтобы расходить навалившееся «весеннее онемение». Такому-то систематическому воспитанию подвергся и Виктор Алексеевич. И, по его словам, не без пользы.

Виктор Алексеевич родился в начале сороковых годов. Он был высокого роста, сухощавый, крепкий, брюнет, с открытым, красивым лбом, с мягкими синими глазами, в которых светилась дума и вспыхивало порой тревогой. Всегда в нем кипели мысли, он легко возбуждался и не мог говорить спокойно.

В детстве он исправно ходил в церковь, говел и соблюдал посты; но лет шестнадцати, прочитав что-то запретное, — Вольтера или Руссо, — решил «все подвергнуть критическому анализу» и увлекся немецкой философией. Резкий переход от «нравственного календаря» к Шеллингу, Гегелю и Канту вряд ли мог дать что-нибудь путное юному уму, но и особо вредного не случилось: просто образовался некий обвал душевный.

— В церкви, в религии я уже не нуждался, — вспоминал о том времени Виктор Алексеевич. — многое представлялось мне наивным, детски-языческим. «Богу — если только Он есть надо поклоняться в духе, а в поклонении Бог и не нуждается», — думал я. И он стал никаким по вере.

Сороковые годы ознаменовались у нас увлечением немецкой философией, шестидесятые — естественными науками. В итоге последнего увлечения — крушение идеализма, освобождение пленной мысли, бунтарство, нигилизм. Виктор Алексеевич и этому отдал дань.

— Я стал, в некотором смысле, нигилистом, — рассказывал он, — даже до такой степени, что испытывал как бы сладострастие, когда при мне доходили в спорах до кощунства, до скотского отношения к религии. В нем нарастала, по его словам, «похотливая какая-то жажда-страсть все решительно опрокинуть, дерзнуть на все, самое-то священное... духовно опустошить себя». Он перечитал всех

борцов за свободу мысли, всех безбожников-отрицателей и испытал как бы хихикающий восторг.

— С той поры «вся эта ерунда», как называл я тогда религию, — рассказывал Виктор Алексеевич, — перестала меня тревожить. Нет ни Бога, ни дьявола, ни добра, ни зла, а только «свободная игра явлений». И все. Ничего «абсолютного» не существует. И вся вселенная — свободная игра материальных сил.

Окончив Московское техническое училище, Виктор Алексеевич женился по любви на дочери помещиков-соседей. Пришлось соблудности порядок и округиться у аналоя. Скоро и жена стала никакой, поддавшись его влиянию, и тем легче, что и в её семье склонялись к «свободной игре материальных сил».

— С ней мы решали вопросы: что такое — нравственное? что есть разврат? Свободная любовь унижает ли нравственную личность или наоборот, возвышает, освобождая ее от опеки отживших заповедей? И приходили к выводу, что в известных отношениях между женщиной и мужчиной нет ни нравственности, ни разврата, а лишь физиологический закон отбора, зов, которому, как естественно явлению, полезней подчиняться, нежели сопротивляться, что брезгливость и чистоплотность являются верным регулятором, что отношение к явлениям зависит от наших ощущений, а не от каких-то там «ве-ле-ний». И вот когда т о случилось, — рассказывал Виктор Алексеевич, — о н а... — он никогда не говорил «жена», — она мне с усмешкой бросила: «Никакого разврата, а... физиологический закон отбора... и зависит от наших настроений!»

Курс он кончил с отличием. Еще студентом он сделал какие-то открытия в механике, натолкнулся на идею двигателей нового типа, «как бы предвосхитил идею двигателей внутреннего сгорания дизеля».

Первые годы женитьбы он все свободное время сидел за своими чертежами, пытаясь осуществить идею. Жена любила наряды, хотела блистать в свете и блистала, а он, при всей своей страстности к жизни и ее дарам, «чуть ли не похотливости к жизни», как он откровенно признавался, вычислял и вычерчивал, уносился в таинственный мир механики, тщась раскрыть еще неразгаданные ее тайны. Его стали томить сомнения: хорошо ли сделал, что стал инженер-механиком? не лучше ли было бы отдаться «механике небесной» — астрономии? Он схватился за астрономию, за астрономическую механику, и ему открылась величественная картина «движений в небе». Он читал дни и ночи, выписывал книги из Германии, и на стенах его кабинета появились огромные синие полотна, на которых крутились белые линии, орбиты, эллипсы... — таинственные пути сил и движений в небе.

А пока он отдавался астрономии, семейная его жизнь ломалась.

Он тогда служил на железной дороге, проходил стаж; ездил и кочегаром, и машинистом, готовясь к службе движения. Как раз в ту пору началась железнодорожная горячка, инженерами дорожили, и ему открывалась блестящая дорога. И вот, когда он трясся на паровозе и подкидывал дрова в топку или вглядывался в звездами засыпанное небо и в мыслях его пылали «пути небесные», строго закономерные для него, как пара блестящих рельсов, — семейная его жизнь сгорела.

Вернувшись как-то домой раньше обещанного часа, он увидел это с такой оголенной ясностью, что, не сказав ни слова, — чего ему это стоило! — решительно повернулся и как был в промасленной блузе машиниста, так и ушел из

дома: здесь ему делать нечего. Снял комнату и послал за вещами и книгами. У него уже было двое детей, погодки. Он написал родителям жены, прося позаботиться о детях, — старики Вейденгаммеры уже померли. Родители пробовали мирить, приводили детей, чтобы тронуть «каменное сердце», но он остался неумолим. Жена требовала на содержание и отказалась принять на себя вину. Он даже не ответил, и она написала ему в насмешку: «Никакой вины, а просто... закон отбора». Он написал на ее записке «Потаскушка» и отослал. Тем семейная жизнь и завершилась. Он давал детям на воспитание, но потребовал, чтобы жили они у бабушки, и иногда приезжал их поцеловать.

Вскоре он занял видное место на дороге, но скромной жизни не изменил: жил замкнуто, редко даже бывал в театре, — «жил монахом» — и все свободное время отдавал своим чертежам и книгам.

— И вот, — рассказывал он, — что-то мне стало проясняться. Я видел с и л ы, направляющие движение тел небесных, разлагал их и складывал, находил точки, откуда они исходят, прокладывал на чертежах силы главнейшего порядка... и видел ясно, что эти новые силы предполагают наличие новых сил. Но и этот новый порядок сил... одним словом, открывались новые силы еще еще... и эти новые, назовем их «еще-силы», необходимо было сложить и свести к единой. Хорошо-с. Но тогда к чему ее-то свести, эту единую?.. И откуда она, этот абсолют, этот источник-сила? Этот источник-сила не объясним никакими гипотезами натурального порядка. А раз так, тогда все законы механики летят как пыль! Становилось мне все ясней, что тут наше мышление, наши законы-силы оказываются — перед небом! — ку-уцыми. Или же тут особая сверхмеханика, которая в моей голове не уместается. Тут для меня тупик, бездонность Непознаваемого, с прописной «Н», — н е знаю, н е понимаю, н е... принимаю, наконец! Все гипотезы разлетелись как мыльные пузыри. Но как-то мелькнуло мне, озарило и ослепило, как молнией, что я узнаю, увижу... не глазами, не мыслью, а за-глазами, замыслью... понимаете, что я хочу сказать?.. — что я найду доказательство особой, как бы вне-пространственно-материальной силы, и тогда станет ясно до осязаемости, что все наши формулы, гипотезы и системы тут — ничто, ошибка приготовишки, сплошное и смехотворное вранье, все эти «законы» — для Беспредельного — чистейшая чепуха. И удивительно что еще? Да то, что называется «по Сеньке и шапка»: как еще из всей этой чепухи что-то еще мы получаем, какие-то все-таки законцы, и законцы относительно даже верны, в пределах приготовительного класса.

Как-то ранней весной, когда уже таял снег и громыхали извозчики, он засиделся за чертежами, докурился до одури. Взглянул на часы — час ночи. Он открыл форточку, чтобы освежиться, и у него закружилась голова. Это прошло сейчас же, и взгляд его обратился к небу. Черная мартовская ночь, небо пылало звездами. Таких ярких, хрустально-ярких, он еще никогда не видел. Он долго смотрел на них, за них, в черную пустоту провалов.

— И такую страшную почувствовал я тоску, — рассказывал он, — такую беспомощность ребячью перед этим бездонным н е п о н я т н ы м, перед этим Источником всего: сил, путей, движений!..

Черно-синие бархатные провалы перемежались седыми пятнами, звездным дымом, дыханьем звездным, — мириадами солнечных систем. Он беспомощно обводил глазами ночное небо, в глазах наплывали слезы, и ему вдруг открылось...

— Трудно передать словами, что тут случилось со мной, — рассказывал Виктор Алексеевич. — Прошло лет тридцать, но я как сейчас вижу: все дрогнуло, все небо, со всеми звездами, вспыхнуло взрывами огней, как космический фейерверк, и я увидел бездонность... нет, не бездонность, а... будто все небо разломилось, разодралось, как сверкающая бескрайняя завеса, осыпанная пылающими мирами, и там, в открывшейся пустоте, в не постижимой мыслью бездонной глыби... — крохотный, тихий, постный какой-то огонек, булавочная головка света, чутошный-чутошный проколик! И в неопределимый миг, в микромиг... не умом, я постиг, в чем-то... каким-то... ну, душевным, что ли, вот отсюда идущим чувством?... — показал он на сердце, — что исследовать надо там, та-ам, в этом проколке...но — и это самое оглушающее! — и там-то... опять на-ча-ло, начало только, — все такое же, как и это, только что разломившееся небо! Меня ослепило, оглушило, опалило, как в откровении: дальше уже не л ь з я, дальше — конец человеческого, предел.

Это был обморок, от переутомления, от перенапряжения мысли и зрения, может быть — от чрезмерного куренья, от дохнувшей в него весенней ночи. Он увидел себя на полу, лицом в полуосвещенный потолок. В открытую форточку вливался холодный воздух. Он поднялся, совсем разбитый, и поглядел в небо с неопределимо тревожным чувством. Звезд уже не было: так, кое-где, мерцали, в сквозистой ватке наплывающих облаков. Все было обыкновенное, ночное.

Это был обморок, продолжавшийся очень долго: часы показывали половину второго.

После он вспоминал, что в блеске раздавшегося неба огненно перед ним мелькали какие-то незнакомые «кривые», ж и в ы е, друг друга секущие параболы... новые «пути солнца», — новые чертежи небесной его механики. Тут не было ничего чудесного, конечно, рассуждал он тогда, а просто-отражение света в мыслях: мыслители видят свои мысли, астрономы — «пути планет», и он, инженер-механик и астроном-механик, мог увидеть небесные чертежи — «пути». Но и еще, иное, увидел он: «бездонную бездну бездн» — иначе и не назвать. И в этом — еще, другое, до осязания внятное всем существом его: тот огонек-проколик, «точку точек», — так в нем определилось, — «предел человеческих пределов, конец, бессилие».

— Со всяким подобное случалось, только без вывода, без «последней точки», — рассказывал Виктор Алексеевич. — Вы лежите на стогу в поле, ночью, и загляделись в небо. И вдруг звезды зареяли, заполошились, и вы летите в бездонное сверканье. Но что же вышло, какой итог? Я почувствовал пустоту, тшету. И раньше сомнения бывали, но тут я понял, что я ограблен, что я перед э т и м как слепой крот, как эта пепельница! что мои силы, что силы всех Ньютонов, Лапласов, всех гениев, всех веков, до скончания всех веков, — ну, как окуроч этот!.. — перед этим «проколиком», перед этой булавочной головкой-точкой! Мы дойдем до седьмого неба, выверим и начертим все пути и движения всех допредельных звезд, вычислим исчисляемое, и все же- пепельница, и только. В отношении Тайны, или, как я теперь говорю благоговейно, — Господа-Вседержителя. Вседержителя! Это вот прежнего моего, что я найти-то тщился, занести на свои «скрижали», — Источника сил, из Которого истекает Всё. Я почувствовал, что ограблен, Вот подите же, кем-то ограблен! протест! Я, окуроч, — тогда-то! — не благоговее, а проклиная, готов разодрать сверкающее небо, будто оно огра-

било. Не благодарю за то, что было мне откровение, — было мне откровение, я знаю! — а плюю в это небо, до обморока плюю. Теперь я понимаю, что и обморок мой случился не от чего-то, а от этого «оскорбления», когда я в один микромиг постиг, что дальше — н е л ь з я, конец. И почувствовал пустоту и тоску такую, будто сердце мое сторело и там, в опаленной пустоте, только пепел пересыпается. Нет, не сердце сторело: сердце этой тоской горело, а сторело вот это... — показал он на лоб, — чудеснейший инструмент, которым я постигал, силился постигать сверж — все.

После открывшегося ему комната показалась такой давящей, будто закрыли его в гробу и ему не хватает воздуха. Он забегал по ней, как в клетке, увидел синюющие кальки с путанными на них «путями неба», хотел сорвать со стены и растоптать, и почувствовал приступ сердца — «будто бы раскаленными тиска-ми». Подумал: «Конец? не страшно».

Он не мог оставаться в комнате и выбежал на воздух. Была глубокая ночь, час третий. Он пошел пустынными переулками. Под ногой лопались с хрустом пленки подмерзших луж, булькало и журчало по канавкам. Пахло весной, навозцем, отходившей в садах землей. Москва тогда освещалась плохо. Он споткнулся на тумбочку, упал и ссадил об ледышки руку. «По земле-то не умеешь ходить, а...» — с усмешкой подумал он и услышал оклик извозчика: «Нагулялись, барин... прикажите, доставлю... двугривенничек бы, чайку попить». Голос извозчика его обрадовал. Он нашарил какую-то монету и дал извозчику: «На, попей». И услышал за собой; «А что же не садитесь-то? Ну, покорно благодарим». Это «покорно благодарим» будто теплом обвеяло.

На Тверском бульваре горели редкие фонари-масленки. Ни единой души не попадалось. Он наткнулся на бульварную скамейку, присел и закурил. Овладевшая им тоска не проходила. Все казалось ему никчемным, без выхода: то были цели, а теперь вдруг открылось, что- ничего. Кончить?.. — сказала в нем, и ему показалось, что это выход. Так же, как в юности, в пору душевной ломки, когда он решил «все пересмотреть критически», когда полюбил первой любовью, и эта любовь его — девочка совсем — в три дня умерла от дифтерита. И, как и тогда, он почувствовал облегчение: выход есть.

II НА ПЕРЕПУТЬЕ

Мартовская ночь, потрясшая Виктора Алексеевича видением раскрывшегося неба, стала для него о т к р о в е н и е м. Но постиг он это лишь по прошествии долгих лет. А тогда, на Тверском бульваре, он был во мраке и тоске невообразимой.

— Стыдно вспомнить, — рассказывал он, — что это «неба содроганье» лишь скользнуло по мне... хлыстом. Какое там откровение! Просто хлестнули по наболевшему месту — по пустоте, когда лопнуло мое «счастье». Вместо того, чтобы принять «серафима», явившегося мне на перепутье, внять «горний ангелов полет», я только и внял, что «гад морских». Закопошились во мне, подушные, и отравляющей верткой мыслью я истачивал остававшееся во мне живое: «Все мираж и самообман, и завтра все то же, то же», Если бы не покончил с собой, наверное, заболел бы, нервы мои кончались. Но тут случилось, что случается только в самых что ни на есть романтических романах и — в жизни также.

Он стал представлять себе, не без острого наслаждения, как э т о будет: не больше минуты, и... спазм дыхания, судороги, и — ничего, мрак. Он знал один кристаллик, как рафинад... если в стакане чаю размешать ложечкой, и — глоток!.. Когда-то, при нем, техник Беляев, в лаборатории ошибся — не вскрикнул даже. И потом н и ч е г о не будет. Эти грязные фонари будут себе гореть, а там... — поглядел он в небо, где проступали звезды, — эти, светлые, будут сиять все так же, пока не потухнут все от каких-то неведомых «законов», и тогда все «пути» закончатся... чтобы начать все снова? И ему стало грустно, что они еще будут, и долго будут, когда его не будет, А вдруг после т о г о, после «кристаллика», и о т к р о е т с я? Мысль о «кристаллике» становилась все заманчивей. «Ничего не откроется, а... „лопух вырастет“, верно сказал тургеневский Базаров!..» — проговорил он громко, язвительно и услышал вздох рядом. Вздрогнул и поглядел: на самом краю скамейки кто-то сидел, невидный. Кто-то подсел к нему, а он и не заметил. Или — кто-то уже сидел, когда он пришел сюда?

Он стал приглядываться: кажется, женщина?... сжавшаяся, в платке... какая-нибудь несчастная, неудачница, — для «удачи» все сроки кончились. Как с извозчиком в переулке, стало ему свободней, будто теплом повеяло, и ему захотелось говорить: но что-то удержало, — пожалуй, еще за «кавалера» примет и обратится в пошлость, в обычное- «угостите папироской». Он испугался этого, поднялся — и сел опять.

— Я вдруг ясно в себе услышал: «Не уходи!» — рассказывал Виктор Алексеевич. — Никакого там «голоса», а... жалость. Передалось, мне душевное томление жавшейся робко на скамейке, на уголке. Если бы не послушал жалости, «кристаллик» сделал бы свое дело наверняка.

— Я испугалась, что станут приставать, — много спустя рассказывала Дарья Ивановна, — сидела вся помертвевая. Как они только сели, хотела уйти сейчас, но что-то меня пристукнуло. У меня мысли путаются, а тут кавалер бульварный, свое начнет. Встали они — сразу мне стало легче, а они опять сели.

Он закурил — и при свете спички уловил обезвавшим взглядом, что сидевшая — в синем платье, в ковровой шали, в голубеньком платочке и совсем юная. Не мог усмотреть лица: показалось ему, — заплакано. По всему — девушка-масте-

рица, выбежала как будто наспех.

— Я сразу поняла, что это серьезный барин, — рассказывала Дарья Ивановна, — и им не до пустяков, и очень они расстроены. И сразу они мне понравились. Даже мне беспокоило стало, что они покурят и отойдут.

При первых его словах, чтобы только заговорить, — «А который теперь час, не знаете?» — сидевшая сильно вздрогнула, будто ее толкнули, — это он почувствовал в темноте, не видел, — и не ответила, словно хотела остаться незаметной. Он повторил вопрос насколько возможно мягче, чтобы ее ободрить. Она чуть слышно ответила: «Не знаю-с...» — и вздохнула. По вздоху и по этому робкому «не знаю-с» он почувствовал, что она действительно несчастна, запугана и, кажется, очень юная: голос у нее был как будто детский, с е т л ы й. Он почувствовал, как она отодвинулась на край скамейки и даже как будто отвернулась, и понял, что она его боится. Это его растрогало, и он стал ласково уверять, что бояться ей нечего, если она позволит, он проводит ее домой, а то уж очень поздно и могут ее обидеть. Она неожиданно заплакала. Он растерялся и замолчал. Она плакала всхлипами, по-детски и старалась укрыться шалью. Он стал ее успокаивать, называл нежно — милая, остро ее жалея, спрашивал, какое у нее горе, или, может быть, кто ее обидел?.. Она продолжала плакать.

— Я сразу поняла, что это особенный господин, — рассказывала Дарья Ивановна об этой «чудесной встрече», о самом светлом, что было в ее жизни до той поры, — и, должно быть, очень несчастный, как и я. Я плакала и от того, что со мной случилось, что некуда мне идти... а мне хоть руки на себя наложить, пойти на Москва-реку, в самое водополье кинуться... выхода мне не виделось. Ждала только, церковь когда откроют, помолиться перед Владычицей. Сидела на лавочке и ждала, и все думала — нет мне доли. И от ихней ласки я плакала, жалко себя мне стало.

— Я забыл о своем... — рассказывал Виктор Алексеевич, — сердце мое расплавилось, и загорелось во мне желание утешить, спасти это юное существо, которому что-то угрожало. Я тогда подумал, что ее обесчестили... растоптали, и я присутствую при живой человеческой трагедии, и в моей власти эту трагедию разрешить. Подумайте: глухая ночь, на Тверском бульваре, и одинокая девушка, рыдает! Мог ли я пройти мимо?

Он продолжал успокаивать ее, предлагал проводить ее до дому. Захлебываясь, от слез, выдавливая толчками слова, — «совсем, как обиженный ребенок!» — она несвязно выговорила: «У меня... не... куда... идти...» От сказал, что оставаться ночью на улице ей нельзя, ее заберут в квартал, каждый человек должен иметь хоть какой-нибудь кров, что, наконец, он может нанять ее в прислуги, и ему очень нужна прислуга, он совершенно одинокий, а ему надо по хозяйству, у него служба, книги, и... — пусть только ему поверит, у него никакой задней мысли, и не надо обращать внимания на предрассудки. Он не раздумывал, понятно ли ей все то, что он насажал так страстно.

А он именно «страстно» уговаривал, — вспоминал; Дарья Ивановна, — «так уговаривал, что мне думать стало и страх на меня напал». Он говорил ей с жаром, с восторгом даже.

— Да, с восторгом! — рассказывал Виктор Алексеевич. — Все идеальнейшее, что жило во мне когда-то... — оно никогда и не умирало! — во мн проснулось. Я почувствовал, как во мне оживает отмиравшее, задавленное «анализом», как

пустота заполняется... как бы краны какие-то открылись, и хлынуло!.. Заполнилась этой вот незнакомой девушкой, «несчастной», о которой я еще ничего не знал. Плач ее, прерывавшийся детски голос сказали мне в с е о ней, а я и не видел ее лица. И тогда же, при этой страстности, я каким-то краешком думал и о своем: «Пусть т а м бездонность и пустота, обман и мираж, а вот ж и в о е, и это страдающее живое протестует, вместе со мной протестует против хлада пространств небесных, против немой этой пустоты... создавшей страдающее ж и в о е». Мн даже тогда мелькнуло, что эти слезы, этот беспомощный детский всхлип опрокидывают «бездонность», и «хлад», и «пустоту»... что... э т о как-то выходит из чего-то и — для чего-то. Ну, словом, я почувствовал, что пустота заполняется. Тогда еще я не видел ни ее светлых глаз, ни ее нежного юного лица... голос только ее и слышал, детский, горько жалующийся на жизнь. Ни тени дурной мысли, какого-нибудь пошлого, затаенного намека, что вот, юная девушка... а я мужчина, давно безженный, уговариваю ее пойти ко мне. Только жалость во мне горела и грела душу.

Она перестала плакать, доверилась. Сказала — «как батюшке на духу сказала, так я уверилась», — что она золотошвейка, от Канителива, с Малой Бронной, с семи лет все золотошвейка, стала уж мастерица, что определила ее тетка, а теперь сирота она... что Канителиха тоже померла недавно, и теперь от хозяина нет житья, проходу не дает... всех мастериц на «Вербу» отпустил, на гулянье, а ее оставил, приставать стал... заперлась от него в чулане... до ужина еще вырвалась в чем была, все сидела, дрожала на бульваре.

Он узнал, что не к кому ей идти, только матушка Агния ее жалеет, монахиня в Страдном, знакомая теткина... лоскутки ей носит, матушке Агнии, а она одеяла шьет... что теперь бы с радостью в монастырь укрывалась, а матушка Агния может похлопотать, только все ее деньги у хозяина, семьдесят рублей, и паспорт, а монастырь богатый, так не берут, вот она и сколачивала на вклад, двести рублей желает матушка Ираида, казначея... что, может, возьмут за личико, все-таки не урод она... матушка игуменья с чистым личиком очень охотно принимает, для послушания... и голос у нее напевный, в крылошанки сгодиться может... головщица с правого крылоса матушка Руфина не откажет, матушка Агния попросит... что святые врага закрыты, и она ждет заутрени: как ударят — тогда отворят.

Он слушал этот путаный полудетский лепет, в котором еще дрожали слезы, но сквозила и детская надежда, когда она говорила; «Матушка Агния попросит». Говорила с особенной лаской, нежно: «А-гния», со вздохом. Он так же ласково, невольно перенимая тон, как говорят с детьми взрослые, радуясь, что не случилось «непоправимого», сказал ей, что все устроится, что, конечно, матушка «А-гния попросит, и двести рублей найдутся...» — и тут, в стороне Страдного, вправо от них, ударили. «Пускают»... — сказала она робко и встала, чтобы идти на звон. Но он удержал ее.

— Я хочу вам помочь. Вам надо разделаться с хозяином, получить жалованье и паспорт, — сказал он ей. — Вот моя карточка, я живу тут недалеко. Если что будет нужно, зайдите ко мне, я заявлю в полицию, и...

Она поблагодарила и сказала, что матушка Агния заступится, сходит сама к хозяину.

— Я испугалась, что такой господин так для меня стараются, — рассказывала Дарья Ивановна, — из-за девчонки-золотошвейки, да еще наш хозяин начнет